

Иван Аксаков

**Из речи о Федоре  
Васильевиче Чижове**



Иван Сергеевич Аксаков

## Из речи о Федоре Васильевиче Чижове

«...Прежде чем перейти к изложению наших действий за это последнее время, я должен исполнить грустную обязанность и остановить ваше внимание на потере, понесенной нашим обществом в лице одного из старейших его членов, Федора Васильевича Чижова, скончавшегося 14 прошлого ноября, 67 лет от роду...»

**Иван Сергеевич Аксаков**  
**Из речи о Федоре**  
**Васильевиче Чижове**

*(Произнесена в Славянском комитете 18 декабря 1877 г.)*

М<sup>м. Гг.</sup>

...Прежде чем перейти к изложению наших действий за это последнее время, я должен исполнить грустную обязанность и остановить ваше внимание на потере, понесенной нашим обществом в лице одного из старейших его членов, Федора Васильевича Чиждова, скончавшегося 14 прошлого ноября, 67 лет от роду.

Это был замечательный человек, заслуживающий подробной и тщательной биографии. Я, разумеется, представлю вам здесь только его краткий биографический очерк, в котором, за неимением под рукою всех данных, некоторые цифры и числа переданы, может быть, и не совсем точно; но зато я постараюсь с возможною полнотою воспроизвести вам его нравственный образ.

Большинству русского общества он вероятно известен только как практический деятель, умный, строгий, безукоризненно честный, в сфере так называемых экономических интересов. В самом деле, им одним по-видимому была посвящена деятельность – и какая! Непрерывная, неутомимая, его послед-

них двадцати лет. Но только по-видимому: все эти труды и заботы по устройству железных дорог, банков, промышленных обществ, действительно почти целиком поглощали его время и сокрушили наконец здоровье, но не полонили его души, не охлаждали сердца, не вытравили в нем ни духовной жажды, ни нравственных идеалов. Сердце этого сурового работника оставалось открытым, чутким ко всему изящному в искусстве и в жизни, и ко всякому страданию человеческому; ум не перестал мыслить и рвался к досугу, но был им насильственно возвращаем к служению практическим целям. Было бы однако же ошибочно думать, что эта внешняя практическая деятельность оставалась чуждою его внутреннему существу. Напротив, он вносил в каждый свой труд всего себя, но становился не рабом его, а господином; осмыслял, одухотворял его нравственною стихиею, высшею идеальною целью. Этот прославившийся практик, у которого не только не вываливалось из твердых рук, но спорилось, росло и крепло всякое дело, был упрямый идеалист, — таковым и остался до последнего часа. Этот

хозяин и руководитель громадных торговых и промышленных предприятий, для которых по-видимому и нет другого прочного основания, кроме расчетов личной корысти, которых вся существенная задача, казалось бы, только в денежных барышах, – был бескорыстнейшим из людей, ненавидел и презирал деньги.

Он не искал этого поприща, не имел к нему влечения и вступил на него уже на пятом десятке лет. Немало был бы он сам удивлен, если бы в то время, когда он изучал историю искусств в Италии, так пламенно им любимой, кто-либо возвестил ему его позднейшую деятельность в звании железнодорожного строителя или учредителя банков. Но раз обстоятельства заставили его повернуть на этот путь, он, – с полным сознанием его темных, материализующих свойств, но также и своей личной нравственной неодолимости, – бодро принял вызов судьбы и отдался делу всеми силами духа.

А это был сильный человек, человек с властью. Прежде всех других его качеств, ощущалось в нем именно присутствие внутренней

силы: силы убеждения, силы воли – непреклонной, деспотической относительно самого себя, вместе с незыблемою стойкостью нравственных основ, не способною ни к каким уступкам и сделкам. Смотря на его работу – методическую, отчетливую до мелочей, – всякий сказал бы, что такое систематическое применение воли к делу, такая выдержка в труде, то, что немцы называют *Ausdauer*, возможно только при твердом спокойствии и хладнокровии духа... А между тем это был человек самый пылкий, самый страстный, даже пристрастный по своей природе, и кто узнавал Чижова лишь с этой его стороны, готов был, напротив, вывести заключение, что он способен управляться в жизни только порывом! Но это-то цельное сочетание таких, по-видимому, противоположных свойств и было в нем особенно привлекательно: оно-то и придавало ему такую нравственную красоту и такую власть над другими. Этот страстный человек не менял предметов своей страсти, и как оставался верен, неизменно верен до смерти своим друзьям, и в крупных событиях и в мелочных обстоятельствах их жизни, –

так, с каким-то неистощимым, не остывающим жаром, в каком-то упорном, пребывающем порыве, педантически тщательно служил каждому взятому им на себя делу и не спеша доводил его до конца. Горячее, сострадательное сердце, он однако же был не из слабосердых и не любил потворствовать слабостям даже в друзьях. Оказывая помощь, – а он многих облагодетельствовал, многих поставил на ноги в жизни и притом без всяких чувствительных и умильных приемов, – он всегда заботился о том, чтобы это добро пошло впрок, а не во вред человеку. Почти спартанец относительно внешних житейских удобств, он был крутым, неумолимым гонителем всякой распущенности, лени, небрежности, неги; строгий к себе, был строг и взыскателен по службе, и глубоко возмущался, когда встречал в людях недостаточно нравственное отношение к долгу, к порученному им делу. Впрочем, личные дела, собственные интересы мало его заботили. Только то дело и было, властно привлечь его к себе, за которым он мог признать какое-либо гражданское, общепользное значение и которое тем самым, в



его глазах, стояло выше одинокой личности человека; только общественное дело становилось ему своим, личным; только в успехе такого дела, созданном его личными трудами, обретал он себе личное удовлетворение и, как он выражался, самый дорогой эгоистический интерес.

Вот какого нравственного закала человек примкнул, в половине сороковых годов, к кругу Хомякова, Киреевских, К. Аксакова, Юрия Самарина – тех высокоталантливых, высоконравственных деятелей, которых враждебная критика обозвала в насмешку кличкой «славянофилов», обратившеюся впоследствии в такое почетное для них именование. Теперь, когда они все в могиле, когда их творческая мысль оправдывается самой историей и поднятое ими знамя становится знаменем всего мыслящего русского общества, с особенною яркостью выступает значение той духовной силы, которою окрылялось у них и слово и дело. В их направлении не было ни доктринерства, ни теоретической отвлеченности. Подвигом самой жизни запечатлели они искренность и правду своих убеждений.

Следует однако же заметить, что Федор Васильевич примкнул к этому кругу уже вполне созревшим, — путем самобытного развития дойдя до полного тождества в главных основаниях и воззрениях. Ему не от чего было и отречься: он нашел то, чего искал, только утвердился в направлении и расширил мирозерцание.

Родившись в 1811 году, в недостаточной дворянской семье Костромской губернии, он прошел тяжкую школу труда и бедности. Тем не менее, как только он, окончив курс наук сперва в Костромской, потом Петербургской гимназии и в Петербургском университете, занял в последнем место адъюнкт-профессора математики, он отказался от своего небольшого родового имения в пользу сестер, предоставляя себе собственною работою добыть средства к жизни. Почти восемь лет преподавал он в университете и издал, по официальной своей специальности, несколько замечательных сочинений. Но не занятия математикою и механикою были его призванием: уже в 1839 году, следовательно 29 лет от роду, он издает перевод истории европейских литера-

тур XV и XVI столетий Галлама с такими своими дополнениями, которые, по отзыву критики, обнаруживали обширную и основательную начитанность переводчика. В то же время переделано им на русский язык прекрасное сочинение одной английской писательницы под заглавием «Призвание женщины», вышедшее в свет в Петербурге, уже по выходе его из университета. Скромное поприще ученого не могло удовлетворить этой деятельной, пылкой, разнообразно одаренной природы. Его влекла к себе жизнь, знакомство с людьми; ему нужно было применить к живому делу богатый запас воли и нравственной власти и утолить потребность своего сильного художественного инстинкта. Сближение и затем тесная дружеская связь с одним малороссийским дворянским семейством (не ослабевшие потом ни разу в течение всей его жизни до самой минуты смерти) послужили переворотом в его судьбе. Он принял деятельное участие в воспитании и образовании молодого представителя этой семьи и через несколько лет, в 1840 году, оставив университет, поселился в Малороссии, а потом уехал в

Европу или, вернее сказать, в Италию, куда манил его мир искусств и художественных наслаждений.

В Италии, в обе свои поездки, он провел около семи лет лучшей половины своей жизни. Там, в сороковых годах, жил он в Риме, – в доме, где в первом этаже помещался поэт Языков, во втором – Гоголь, а в третьем – сам Федор Васильевич. С ними и с знаменитым Ивановым он был в особенности дружен и близок. Впрочем, он состоял в тесных сношениях и со всем кружком русских художников, работавших тогда в Риме. Как во всяком деле, за которое принимался Чижов, так и в живописи он скоро стал знатоком, верным ценителем и судьей, и своим строгим уважением к требованиям искусства оказал на многих из них серьезное, вполне благотворное влияние. Но не одною историею искусства занялся он в Италии: он основательно изучил ее историю политическую и социальную, а в особенности ее литературу как средневековую, так и позднейшую. Он и в старости не переставал следить за итальянским литературным движением, и его обширная библиотека богата со-

бранием итальянских изданий. Но ни в «красавице Венеции», которую он любил и о которой вспоминал с таким увлечением, ни в Риме, среди обаяния художественных сокровищ Запада, он не переставал быть русским, православно верующим человеком и самостоятельным русским мыслителем. Доказательством служат его замечательные статьи: «О работах русских художников в Риме» и «О римских письмах Муравьева», помещенные в «Московском Сборнике» 1846 и 1847 гг., этом первом издании славянофильского характера, но в особенности превосходная статья, появившаяся гораздо позднее в «Русской Беседе» 1856 года: «Джиованни Фиезольский и об отношении его произведений к нашей иконописи». В 1845 году, если не ошибаюсь, Федор Васильевич посетил Москву, где и сдружился со всеми тогдашними представителями славянофильского направления, но вскоре затем опять отправился за границу, и уже не в одну Италию, а в славянские земли. Он объездил Истрию и Далмацию, Сербию и австрийских славян, и его записки, интересные и бытовыми чертами, и описанием памятников рим-

ского зодчества, помещены, хотя и не вполне, частью в «Московском»... же «...Сборнике» 1847 и частью в «Русской Беседе» 1857 года.

В своем путешествии по славянским землям как-то удалось ему помочь черногорцам выгрузить оружие на Далматском берегу. Это обстоятельство, а равно и посещение им австрийских славян вызвало донос на него от австрийского правительства русскому. В конце 1847 года Федор Васильевич решил возвратиться назад в Россию с тем, чтобы окончательно посвятить себя служению ей и русскому народу, преимущественно на поприще литературном, в духе и разуме того «славянофильского» направления, к которому принадлежал. Но только переступил он русскую границу, как был арестован и увезен прямехонько в Петербург. Там подвергли его допросам, и были немало удивлены достоинством, благородною смелостью его умных ответов, словесных и письменных. Мне самому лично удалось это слышать от покойного Л. В. Дуппельта, в то время начальника Штаба III Отделения, который отзывался о Чижове с большим уважением, но однако же называл его при

этом «бедовым» и «пресердитым». Недели через две его выпустили на свободу, но подчинили секретному полицейскому надзору. При таких условиях нечего было и думать о литературном труде; все мечты его об издании журнала оказались неосуществимыми. Это было тяжелое для него время: он остался без средств, а надобно было жить и не зависеть.

И вот Федор Васильевич арендует, в долг, старую оставленную плантацию тутовых деревьев около местечка Триполья в Киевской губернии, недалеко от Днепра, и берется за новое, совершенно незнакомое ему дело. Но он положил себе овладеть им и овладел; положил не только добиться от своих червей отличного шелка, но и распространить между местным сельским населением охоту к этому промыслу, — добился и того и другого. Неудачи в начале не охладили его. С своим обычным упрямством лет пять или шесть прожил он в этой глуши, в совершенном одиночестве, только с книгами и червями. Но по своему же обычаю, верный своей природе, он пристрастился к преодоленному им труду, к созданию своих усилий. Года через два он уже печатал

в «Петербургских Ведомостях» письма о шелководстве, вышедшие потом, лет через 20, особою книжкою, — письма, отличающиеся не только своим техническим, но и литературным достоинством, и в особенности художественным воспроизведением нравов и жизни червей. Не одним однако же червям отдался он в своем уединении, но и истории философии: громадные фолианты систематических выписок из книг свидетельствуют об обширности его чтения. Для развлечения же он занимался над собою упражнением воли, подчиняя себя разным придуманным им правилам, отсекая от себя ту или другую привычку. Здесь кстати упомянуть о другом замечательном проявлении его воли. Еще в тридцатых годах он начал вести дневник, но вел хоть и последовательно, однако же с перерывами. Недовольный собою, он решил наконец, что во что бы ни стало будет вести его ежедневно и пребыл верен решению, несмотря на недуги и громаду забот в года его позднейшей московской деятельности. В самый последний день смерти, 14-го ноября, утром, тяжело больной, он занес это роковое число в свой днев-



ник и вписал в него несколько строк. Как известно, этот драгоценный манускрипт, обнимающий чуть не сорокалетнее пространство времени, богатый не только автобиографическими любопытными данными, но и заметками о событиях и людях, завещан им Румянцевскому музею, с тем чтобы хранился запечатанным еще в течение сорока лет.

После Крымской войны оживление, последовавшее во всей русской общественной жизни, побудило и Федора Васильевича переселиться в Москву, тем более что шелководство не дало ему средств для вполне независимого существования. Все обновлялось в то время в русской земле, все от теории переходило к практике, от слов к делу, от чисто литературного досуга к чернорабочему труду политического и социального преобразования. Настал исторический черед и для отечественных торговых и промышленных интересов, так долго пренебреженных, почти безгласных. Федору Васильевичу было предложено заняться изданием журнала для их специальной защиты. Он взялся за дело, и целый ряд блистательных обзоров осветил эту тем-

ную и глухую доселе область. Эти талантливые статьи читались не одними специалистами. Русская торговля и промышленность обрели живой, громкий, смелый и в то же время беспристрастный голос. Нужно было много таланта для того, чтобы от мира искусств и отвлеченных научных занятий перейти к такой противоположной, специальной, практической сфере и стать в ней хозяином; нужно было много нравственной силы, чтобы сохранить в ней полную независимость духа, не уступить, не поддаться на обольщения и сделки. Издание «Вестника Промышленности», продолжавшееся лет пять, оказало, без сомнения, благотворное действие и на всю среду торговых и промышленных деятелей, с которою сблизили Федора Васильевича его занятия журналиста. Но и сблизившись с нею, Чижов сохранился таким же, как был, и не переставал предъявлять ей свои строгие нравственные запросы. К чести упомянутых деятелей, они вполне оценили Чижова; его значение было авторитетно; его слово с весом. Его любили, уважали... но и боялись. Скоро от журнала перешел он к деятельности не толь-

ко практической, но даже технической, и принял участие в постройке Троицкой железной дороги: это была первая русская частная дорога; до того времени, как известно, дороги строились у нас или казною, или же знаменитою французскою компаниею. Эта мысль воспламенила Чижова, всегда страстно готового работать на родную землю и родной народ. Он отдался делу душою и стал душою дела. Дорога вышла образцовою и по устройству, и по бережливости расходов, и по строгой отчетливости управления, и по добросовестному соблюдению достоинства акционеров. И уж как любил он эту дорогу, провел ее до Ярославля и Вологды и лелеял еще много планов для обеспечения будущей судьбы этого своего дорогого детища! Надобно было видеть, с какою артистическою нежностью составлял он свои железнодорожные годовые отчеты: целые томы цифр, процентных отношений, всякого рода затейливых статистических выводов!

Потребовалось учреждение в Москве частного банкового кредита, ибо до тех пор торговля и промышленность поддерживались

только правительственным кредитом, то есть Государственным Банком. Для первого частного в Москве кредитного учреждения необходимо было приискать лицо, которого одно уже имя служило бы нравственным знаменем. И вот Федор Васильевич во главе Московского купеческого банка. Ново и чуждо, и не вполне симпатично было ему это дело, а при наших общественных нравах, при наклонности к произволу, при непривычке подчиняться требованиям закона, для всех равно одинакового, оно представляло особенную, серьезную трудность. Но такая борьба была ему по плечу. Он не только вышел из нее победителем, но и самым блистательным образом разрешил задачу. Чижову обязан Купеческий Банк, самый крупный и сильный из всех частных банков в нашем отечестве твердостью своей первоначальной основы; он заложил прочный фундамент частному банковому кредиту в Москве и, можно сказать, во всей России; он установил образцовые порядки и показал пример, в торговой среде, строгого соблюдения долга, не взирающего ни на лица, ни на капиталы. Признав затем свою

гражданскую миссию исполненной, он года через два вышел из директоров Банка, – впрочем, только для того, чтобы вновь водрузить свое честное, авторитетное знамя в новом, на иных началах возникшем кредитном учреждении, именно Московском купеческом Обществе взаимного кредита. В видах общего блага, нельзя не пожелать, чтоб чижовские предания в обоих учреждениях оставались навсегда живы и действенны...

Время шло. Я не стану исчислять другие промышленные и торговые предприятия меньшей важности, в которых Федор Васильевич принял участие советом и действием. Его общественное значение росло: он пользовался неограниченным доверием за границей; его имя было и перед русскою высшею администрацией ручательством за успех и правильное ведение всякого дела. Когда, после продажи Николаевской железной дороги иностранной компании, правительство приступило к продаже Московско-Курской дороги, и на сей раз оказалось возможным приобрести ее уже не иностранцам, а русским капиталистам, дело опять не обошлось без Чи-

жова. С ним вело переговоры правительство – и важная внутренняя железнодорожная линия удержалась в русских руках. Став во главе нового предприятия, Чижов сохранил за собою председательство в правлении этой дороги до самой кончины. Участие в товариществе, купившем дорогу, сулило громадные выгоды, и молва скоро провозгласила Федора Васильевича миллионером, забывая или не зная, что по условию с иностранными банками, с помощью которых совершена была покупка, акции дороги могли быть пущены в продажу и обращены в деньги не ранее как через 18 лет, – то есть тогда, когда Чижову было бы свыше 80! Следовательно, не на личное пользование этими миллионами мог рассчитывать Федор Васильевич, а питал в душе иной замысел, как и оказалось впоследствии. Весь этот будущий, действительно огромный, двухмиллионный, если не более, капитал завещан им городу Костроме для устройства высшего технического учреждения в крупных размерах, и еще четверем городкам Костромской губернии для четырех вспомогательных ремесленных училищ.

Само собою разумеется, что и без реализации этих акций продолжительное участие в разных промышленных предприятиях поставило его в положение человека не только независимого, но даже с богатыми средствами. Но прибыль средств не изменила ни его вкусов, ни его привычек, и мало сказалась на его внешнем образе жизни. Об его комфорте и удобствах заботились сами его друзья и навязывали их ему почти насильно и самовольно. Сам он тратился почти исключительно на книги, на вспоможение нуждающимся приятелям, и дом его был всегда пристанищем для приезжающих в Москву родных и дорогих ему лиц. Несколько лет тому назад он свел свои счета: в результате оказался свободный капитал тысяч в 200. Но совестным показалось Федору Васильевичу иметь у себя такую крупную сумму. «Терпеть не могу деньги, – говорил он мне, – не могу привыкнуть считать их своею собственностью; они требуют употребления, – этой силе нужно дело...» – И вот он затевает предприятие, в высшей степени общепользное, важное, способное оживить наш бедный, брошенный Северный край.

Он учреждает Общество пароходного плавания вдоль Мурманского берега, и несмотря на предостережения друзей, на собственное убеждение, что выгод от такого Общества позволительно ожидать разве только в самом отдаленном будущем, – ввергает в дело все свои 200 тысяч! Предприятие оказалось не только не прибыльным, но убыточным, тем более что сам Чижов не мог принять в управлении никакого участия. Федор Васильевич счел, однако же, долгом совести не отставать от решения задачи, и для поддержания Общества, за несколько месяцев до кончины, заложил почти все, еще оставшиеся у него свободными процентные бумаги. Таким образом, этот пресловутый богач оставил после себя лишь тысяч до двух наличных денег и незначительную сумму долгов, по уплате которых образуется в пользу его наследников лишь весьма скромное достояние!..

Неимоверные труды и заботы, сопряженные с его общественной деятельностью в течение последних двадцати лет его жизни, не мешали ему, однако же, помещать от времени до времени статьи в разных периодиче-



ских изданиях, следить за русскою и иностранною литературою, вести обширную и последовательную, самую разнообразную переписку, например хоть бы с товарищем юности, ученым и поэтом Печериным, сперва профессором, а потом католическим священником в Дублине, – под старость разочаровавшимся во всех своих увлечениях, не исключая и католицизма. Вообще как ни был Федор Васильевич завален делом, он удивительным образом всегда находил время заботиться, даже до мелочей, о всех, кого он любил, и притом заботиться умно, внимательно, соответственно нравственному характеру каждого. Редко кто из друзей, выходя от Чижова, не выносил на своей душе бодрый след его внутренней силы. Нельзя не упомянуть притом, что в самый разгар своей деловой поры он удосужился, из уважения к памяти Гоголя, заниматься изданием и продажей его сочинений и аккуратнейшим образом доставлять выручку родной сестре и другим наследникам писателя: все последние три издания Гоголя – дело Чижова, не исключая и корректуры!

Странную, пеструю смесь книг и бумаг самого противоположного свойства представлял письменный стол Федора Васильевича: верное отражение его собственного внутреннего многостороннего содержания. Не однажды был озадачен иной «деятель на поприще экономических интересов», когда, обращаясь к нему, как к опытному, знаменитому «практику», чуждому без сомнения «узких» или «идеальных» требований нравственности, встречал в нем самый горячий, молодой отпор и подвергался вспышке его оскорбленного нравственного чувства. «Деятель» готов был бы назвать его мечтателем, сумасбродом, *enfant terrible*, если бы такому заключению не противоречил блистательный практический успех всякого дела, за которое только брался Чижев. Наоборот, к этому «практическому человеку», к этому старому дельцу, можно было смело обратиться с такого рода честною мыслью или предположением, которое на языке пошлой, дешевой мудрости было бы непременно обозвано безумием, детскою затеей, фантастическим предприятием. Когда в октябре 1875 года генерал Черняев приехал в

Москву, с тем чтоб найти средства для своей поездки и для снаряжения целой роты добровольцев в Черногорию, на помощь восставшим герцеговинцам, я поспешил сообщить этот план – не кому другому, как именно Федору Васильевичу Чижову. Внимательно и сурово выслушав меня, этот убеленный сединами практик прямо ответил мне, что дело это надо постараться непременно исполнить. «Будет ли, не будет ли от этого польза для герцеговинцев, – сказал он, – это другой вопрос: главное в том, что такой поступок со стороны русского общества поднимет его собственный нравственный уровень, возвысит его в собственном сознании, выбьет из пошлости, которая его душит». Это предприятие, как известно, в то время не состоялось.

Работа надломила наконец железную крепость его организма. Уже несколько лет болел он разными недугами, и медики утверждали, что он живет только энергией воли. 14 ноября поздно вечером, когда, по-видимому, он чувствовал себя лучше, среди разговора о своих предположениях в будущем, он скончался внезапно от аневризма. Смерть была мгновенно-

венна. Я видел его через полчаса после смерти. Он сидел в креслах мертвый, с выражением какой-то мужественной мысли и бесстрашия на челе, не как раб ленивый и лукавый, а как раб верный и добрый, много потрудившийся, много любивший, – муж сильного духа и деятельного сердца...